

В.Я. Шишков

Емельян Пугачев Книга 3

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6
ББК 84-4
Ш65

Ш65 **Шишков В.Я.**
Емельян Пугачев Книга 3 / В.Я. Шишков – М.: Книга по Требованию, 2024. – 377 с.

ISBN 978-5-458-03367-1

Историческая эпопея выдающегося русского советского писателя В.Я.Шихова (1873-1945) рассказывает о Крестьянской войне 1773-1775 гг. в России. В центре повествования — сложный и противоречивый образ предводителя войны, донского казака Е.И.Пугачева. Это завершающая книга трилогии.

ISBN 978-5-458-03367-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024
© В.Я. Шишков, 2024

Вячеслав Яковлевич Шишков.
Емельян Пугачёв

Книга 3.

Часть 1.

Глава 1.

Город Ржев. Долгополов собирается в опасный путь. Москва, перелески, лес.

1

Ржев — городишко торговый, довольно бойкий и промышленный.

Еще с начала века, при Петре I, был Ржев не в хорошей у правительства славе, как гнездо потаенного раскольниковства и всякого рода противностей, продерзостей.

К числу раскольников принадлежал и состоятельный ржевский купец Остафий, Трифонов сын, Долгополов. Он изворотлив, тароват, гонял баржи с хлебом и со всякими товарами, вообще вел крупную торговлю, одно время был откупщиком, что приносило ему большие выгоды. Часто наведывался в Питер доставлял овес для царских конюшен и, по своей необычайной пронырливости, имел даже беседу в Ораниенбауме с самим Петром Федоровичем, наследником престола.

Как-то сдал Долгополов в Ораниенбауме пятьсот четвертей овса, принимали тот овес Нарышкин и Д. И. Дебресан, денег же Долгополову пока что не дали, сказали: «В следующий приезд уплатим и с процентами». Ну что ж, без долгов не торговать, а за богом молитва, за наследником престола долг не пропадет.

И случилось тут печальное событие: Петр Федорович воцарился и скоропостижно умер. Долгополов скорей в столицу, стал в царской конторе долг просить. Там ответили:

— Ежели у тебя расписки нет, так и не получишь ничего. Много тут вашей братии по смерти государя за долгами ходят.

Погоревал Долгополов и ни с чем возвратился восвояси...

Да уж, полно, не тот ли это Остафий Трифоныч, что, приехав в Петербург, сидел в день похорон Петра Третьего в трактире «Зеленая Дуброва» и, помнится, вместе с трактирщиком Барышниковым да придворным мясником Хряповым правили поминки по усопшем императоре? Да, он самый...

Но то было давно, в 1762 году, с того времени одиннадцать лет прошло, мясник Хряпов разорился и подвизается где-то на полях Пугачёвского восстания, Барышников же разбогател чрезмерно, из трактирщиков знатным стал помещиком. Вот что с людьми делает время... Однако Долгополов о судьбе бывших своих знакомцев не знал ни сном, ни духом, да и не до знакомых было человеку! Счастье изменило Долгополову. Он разорился, за неплатеж по векселям дважды в тюрьме сидел, вел темные торговые делишки, жил на каверзах, на мелких плутнях, купцы презирали его, но иные все же о нем думали: «Вывернется, не таковский, хапнет где ни-то».

Сам Долгополов также не терял надежды на милость божию, вынюхивал, высматривал, как бы хитрого перехитрить, как бы ротозею за пазуху скакнуть.

От скользких дум в ночи подушка под его головой вертелась.

И вот, ударил час...

В зиму 1773 года шел Остафий Трифонович по базару, хотелось березовых веников для бани расстараться, и нагоняет его кум, и отводит его в сторону, и с уха на ухо говорит ему:

— Слыхал, кум, про дела-то про великие? Будто под Оренбургом государь объявился, Петр Федорыч Третий.

Сухонький, невысокого роста, Долгополов отпрянул от кума, лицо выразило страх и удивление.

— Да что ты, кум, очнись! — замахал он на кума руками. — Статочное ли дело! Государь наш Петр Федорович умер, я в Невском монастыре не единожды на могиле его молился, ведь на нем семьсот рублей моих долгу числится...

Откудов слух идёт?

— От народа, от черни.

Домой Остафий Долгополов вернулся будто пьяный. Жене ни слова. После трапезы пошел в божью горенку на ночь помолиться, встал на колени, разбросил коврик маленький, чтобы лбом в грязный пол не колотить, а сам все о кумовых словах думает, и молитва не идёт на ум. И только руку с двоеперстием для крестного знаменья занес, как встал в его мыслях — будто бы живой — царь Петр Федорович и улыбнулся, встали знатные бояре Нарышкин с Дебресаном и тоже улыбнулись. «Пользуйся», — сказали они все трое и, словно дым, исчезли. А в углу послышалось явственно, как царские лошади хрупают овес... Чей овес? Его овес, Остафия Долгополова.

«Эге-ге-е», — хитроумно подумал купец, подмигнув божнице с горящею лампадою, да из молельни вон.

И голова у него в огне, метался до самого утра. И тысячи соблазнов раздирали его сердце.

«Здравствуй, батюшка, светлый царь Петр Федорович! А дозвольте вашему величеству счетик предъявить, должок маленький имеется на вас...»

«Господи, вразуми меня, как пред государем речь держать... Скуден я разумом своим, а только клятву тебе приношу, господи: ежели поверстаю долг, тебе свечку превеликую, попу ризу, а бедному люду целый рубль раздам».

Лютая трясовица напала на Остафия Трифоновича, а сверх нее — необоримая икота. Утром он обратился к мягкотелой, кругленькой жене, Домине Федуловне:

— Ну, баба, слушай со смирением и рюмы распускать чтобы ни-ни...

Иначе сорву чепец, косу намотаю на руку. Отправляюсь я, баба глупая, в незадолге в Москву, засим во город во Казань, повезу туда красок, сказывают, там красок нетути, большую корысть чрез то можно поиметь.

Сбирай меня в путь-дорогу, баба моя милая, покорливая...

Домина Федуловна сморщилась вся, захныкала, губки сковородничком, а плакать страшно. Вздохнув, сказала:

— Я воле твоей, государь Остафий Трифонович, не перечу. Езжай, ни-то, благословлясь... Ау... — и с тем отошла горько постенать в молеленку.

А втапору жил-проживал во Ржеве великий открыватель, достославный химик и механик и на все руки искусный мастер Терентий Иванович Волосков.

Сын беднейшего часовщика, благодаря неусыпным трудам своим он был зажиточен и славен.

Вот к нему-то и направился хитрый купец Остафий Долгополов. Купцу всего сорок пять лет, а на вид можно дать и шестьдесят. Небольшой, щупловатый, в длинном раскольничьем кафтане, шел он, чуть прихрамывая (мозоли на ногах), крадущейся кошачьей походкой; на сухощеклом, в рябинах, личике крупный нос, безбровые прищуренные глазки, да кой-какая бороденка с проседью, личико в постоянной плутовской улыбке с подхалимцем, и глазки туда-сюда виляют остренькими щупальцами, будто купчик хочет вымолвить:

«Ой, пожалуй, не трожьте вы меня, приятели... Я раб божий, тихо-смирно существую на земле. Ну, а ежели кто в мои лапки попадетса — объегорю».

Шапка, не по голове большая, рысья, на плечах лежит. Костромские рукавицы желтой кожи, с презрительной вышивкой. Широкий кушак, темный иссиня, с кистями.

Знатный морозец был, из труб дым столбом, жареной на конопляном масле рыбой пахло. Шел купец, покряхтывал.

Дом достоправного механика Волоскова стоял подле Волги, при овраге, — длинный, приземистый, крашенный в красную краску под кирпич, семь окон на улицу, да мезонинчик в три окна. Двор большой, надворная постройка справная, воздух пахнет скипидаром, щелоком и всякой дрянью, как в красильне. Люди ходят, их руки, лица вымазаны краской.

— Сам-то дома?

— Дома-с. Проверку часов делает. Ежели вы наелись чесноку, не дышите, механизмам вредно. Хи-хи-хи-с...

Отворил дверь, обшитую рогожей с войлоком, — сердито блок заскорготал, кирпич на веревочке поднялся — в кухне толстобочая стряпуха двумя пятернями голову скребет; проследовал в прихожую — пусто, козлиным голосом почти-тельно прикрякнул.

— Кто там? Шагайте сюда, ни-то...

Батюшки мои, светы батюшки! Горница о четырех окнах, и чего-чего в ней не понатыркано: станки, ременные провода, колесья, верстаки. А хламу разного во всех углах: железа, жести, меди, обрубков деревянных — горы...

А вот и человек с толстой книжицей в руках. Высокий, в пестрединном балахоне, длинные в скобку волосы, густая борода, нос горбатый, пальцы желтые, продубленные крепкой кислотой, а черные глаза глядят со вниманием и строгостью.

Долгополов покрестился на иконы, разинул рот, левую руку на сердце положил, правую елико возможно вытянул и, согнувшись пополам в поясном поклоне хозяину, коснулся концами пальцев половицы.

— Здорово будь, Терентий Иваныч, со всеми чадами и домочадцами твоими во веки веков, аминь!..

— И ты здоров будь, Остафий Трифоныч, — мужественным голосом ответил хозяин. — С чем пожаловать изволил? Похвального любопытства ради али по делам?

— По делам, по делам, Терентий Иваныч-свет, — расправляя спину и прилизывая, будто кот, ладонями лысоватую голову свою, вкрадчивым голосом ответил гость. — Уж мне ли, неразумному, при худобе моей пытаться механику твою премудрую... Темен-бо умишком своим малым.

— Сие смирение зело похвально, но не основательно, — и хозяин ввел гостя

в соседнюю горницу, штукатуренные стены коей, а равно и потолок были расписаны знаками Зодиака и затейными картинами.

— Батюшки, пушка! — удивленно, с беззубым пришепетом прошлепал губами гость, ткнул перстом в медную стоявшую на треноге махину.

— Вот и ошибся, гость дорогой, — заулыбался хозяин, — это зрительная труба суть плод моего художества, чрез нее можно наблюдение иметь за ходом и природой тел небесных, сиречь можно улавливать природу в самом действии её работы, а сие в едино и поучает и забавляет. Да вот беда, стекла дюже плохи, нет прозрачности, и трещины кой-где идут. И горюшко мое, нет способа дознаться, как добрые стекла лить.

— Да-да-да, да-да-да, — прищелкивал языком, кивал головою, льстиво улыбался Долгополов. — О, господи, твоя воля... до чего доходит ум людской, до какой премудрости! А я к тебе, друг, за советом...

Хозяин хмуро взглянул на гостя, как на глупого барана, и подвел к знаменитым, своего изобретения, часам:

— Уж не взыщи, все покажу тебе, в чем жизнь моя течет. Вот — часы. Я положил на них много лет, чуть умом не тронулся, больше недели без памяти лежал. Но одолел, одолел! Время покорил. Законы заключил в медь и камень.

Зри...

— Да, да, добре строенные, пречудно... — Плюгавенький Долгополов, нагнув голову, смотрел исподлобья снизу вверх не столько на часы, сколько в рот с горячностью говорившего сорокалетнего бородача.

На крепком дубовом столе помещались в виде небольшого шкапика знаменитые часы Терентия Волоскова. Футляр красного дерева прост, изящен, отделан по бокам и по фронту желтой медью, в середине — главный циферблат, по углам — четыре дополнительных. Они указывают ход солнца, фазы луны, год, месяц, число и исчисление церковного календаря.

— Особенного зраку нет в них, — без всякой любви, скорей с неприязнью к своему детищу, сказал, вздохнув, хозяин. — Пусть часы мои заслуживают почтение не пышным нарядом, а внутренней добротностью. В них в совокупности охвачено все, что соединено в природе неразрывной связью. — Бледное умное лицо хозяина приняло печальное выражение, на возбужденных глазах показались слезы, он снова вздохнул и, опустив голову, сел на скамью, — Эх-ма... Вот бьешься, бьешься... Ни науки не знаешь, ничего. Да и откуда знать? Дыра здесь. Ни людей, ни умного духу не слышать... Ну, кому нужны эти часы, кому? Простолюдину они ни к чему. У помещика же труд даровой, пошто ему время знать? Вот и стоят часы мои, как чудо. Разве что знатный вельможа, может стать, забредет в мою келию да купит в кунсткамеру свою на погляденье людям...

— Дозволь тебя, Терентий Иваныч, спросить, — прервал хозяина заскукавший гость. — Слых в народе идёт, будто бы объявился в Оренбурге государь Петр Федорыч Третий.

— Нет, не слыхивал, — с суровостью ответил хозяин. — Да подобной глупости и слушать не хочу... А вот принес мне весточку ученый один знатец. Будто бы англичанин Гаррисон изобрел морские часы с цилиндрическим спуском, они полтора года в море плавали, в зыбь и бурю, и уклонились от истинного времени токмо на полторы минуты. Вот это часы!.. От адмиралтейства Гаррисон премию зело великую заполучил...

— Оный разговор для меня вещь недоуменная. Терентий Иванович... Уж не обидься, пожалуй, — прошамкал гость. — Ведь я насчет красочки к тебе, насчет кармину...

— Пойдем, — встал хозяин и ввел гостя в третью горенку с книжными шкапами. — Эта храмина вивлиофика называется. Мысль мудрецов мира сего заключена в письмена, письмена в листы, листы в переплет, сиречь в книгу, книги же заключены в шкапы. А вкупе все — по-гречески — вивлиофика...

— Господи, господи... — причмокивая губами и закатывая глазки, воскликнул гость. — Каких же капиталов тебе стоит эта премудрость...

Сколько овса на эти денежки можно закупить, да муки, да ситцев с сукнами, какие великие обороты можно делать... Эх, бить тебя некому, Терентий Иваныч, уж ты прости меня, пожалуй, не сердчай...

— Бить? — нахмурился хозяин, и по его бледному лицу дрожь прошла.

Гость попятился и замигал. — Меня и так жизнь бьет изрядно... Вся душа избита невниманием... Многие знатные люди перебивали у меня — и графы, и губернаторы, и чиновники всех рангов. Насулят-насулят и ни с чем уедут.

Только насмеются в душе беспримерному упорству моему над махиной сложнейшей, но никому не надобной. А окажи мне государственные люди внимание да помощь, эх, что бы было, каких бы громких делов я натворил, каких бы затей навывдумывал на пользу отечества... А здесь... Знаешь что, знаешь что, гость любезный? Здесь даже поговаривали, особливо попы наши, чернокнижием-де занимается Волосков, планеты небесные-де рассматривает. О прошлом годе науськали мужиков на базаре бить меня... Ну, пойдем из сада мудрости, чую — это не по плечу тебе...

— Ах, верно, друг, ах, верно... Истинно сад мудрости... — обрадованно загнусил, зашамкал Остафий Долгополов и, юрко протянув руку к лежавшему на столе немецкому гаечному ключу, незаметно сунул его на ходу в карман свой.

— Ах, ах! Ну, до чего речи твои мудрые, до чего пресладок глас твой...

Они вышли из покоев, пересекли двор; барбосы, виляя хвостами, залаяли на чужака, хозяин и гость вошли в избушку возле бани, маленькую красочную фабричку.

— Отец мой, царство ему небесное, был, как тебе ведомо, часовщиком, искусству от немцев обучен, и жил он в скудной бедности. Нешто часами в сем городишке проживешь! И стал он яркие краски выделять — кармин да бакан. Только краски, надо прямо сказать, были плоховаты у отца. А тут, сам знаешь, армия наша зело возросла, сукна для обмундирования занадобилась бездна, на краски страшный спрос. Ну вот, значит, как возмужал я, начал с красочным делом возиться, сорт улучшать...

— Терентий Иваныч, свет, одолжи ты мне, бога для, кармину да бакану своего. Еду я в Казань-город, тамо-ка, сказывают, в красках великая нужда, вот поеду, продам с барышом и денежки тебе доставлю, свет, с поклоном низким... А нет, лисьих мехов в орде куплю... Уж я не обману, я человек верный, кого хошь спроси.

Хозяин знал, что слава про Долгополова идет худая: процельжник, жох, но по мягкому нраву своему не смог отказать купцу:

— Ладно, краски дам, ни-то. (Долгополов косорото ослабился — рот до ушей, бороденка уперлась в левое плечо.) А кармин у меня добрецкий, можно сказать

— на всю Россию знаменитый, пробу посылал в Санкт-Петербург, в Академию художеств, постановлено признать кармин Терентия Волоскова «зело отличным и пригодным для изображения на картинах багрянца и малинового бархата с отливом», так и в грамоте на сей счет прописано. Да и на фабриках для ситцепечатания, для сукон кармин мой в ход пошел, заказов не обери-бери! — Волосков выпрямился, гордо откинул голову. — В сем звании красочных дел мастера служу государству и промышленности нашей... и сим горжусь...

— Исполать тебе, свет Терентий Иванович! — вновь отвесил ему купец поясной поклон.

Льстивостью, нахрапцем Долгополов сумел выклянчить у хозяина два изрядных тюрючка красок и сто рублей наличными деньгами.

2

Мороз крепчал. На базаре крик, гам, толчея. Долгополова за полы хватают, всяк рвет покупателя к себе:

— А вот поросеночек, а вот!..

Купил Долгополов живого поросенка, взвалил в мешке на загорбок и посеял мелкими шажками к воеводе. «Первое дело — паспорт. А ну как не даст?..»

Воевода Ржева-города всем воеводам воевода, секунд-майор Сергей Онуфриевич Сухожилин, а по прозванию «Таракан». Такое от народа прозвище он получил не зря и вовсе не за свою наружность, а по причине практичного, во благо градожителю, ума. Но об этом замечательном событии мы своевременно читателей оповестим.

Воевода Сухожилин-Таракан — сын полка, он в армии Елизаветы дослужился до сержанта, а по хлопотам проживавшей во Ржеве княгини Хилковой был произведен в офицерский чин и назначен ржевским воеводой.

Несет он бремя службы вот уже двадцать лет, сначала был корпусом строен, затем стал богатеть, толстеть. Сначала ходил бритым, в парике, затем, махнув рукой на приказ, отпустил бородищу и лохматые волосы, как у кержака. Нрав у воеводы крутой, горячий, глаза завидующие, руки загребушие, да к тому же и добрым разумом не наделил его господь, водились за ним такие фокусы, что — ах! Но милостию божией, доброхотным заступлением престарелой княгини Хилковой, а наипаче через взятку златом, снедью и чем попало, воевода Таракан всякий раз выходил из-под суда бел и чист, аки снег блистающий. Слава тебе, господин, и тебе, княгиня, и вам, продажные суды, продажные души, великая слава и честь во веки веков. Аминь.

Мороз за щеки хватает, поросенок визжит, купец покряхтывает. А вот и богатый каменный воеводский дом. У ворот в полосатой будке дремлет будочник с алебардой на плече, возле его ног рыжая шавочка по-сердитому пошавкивает.

— Песик, песик, на! — с опаской оглядываясь на собачку купец юркнул во двор, сдал поросеночка на кухне с низким поклоном воеводице, сам — в канцелярию.

Пусто, столы заляпаны чернилами, гусиные перья разбросаны, пол в плевках, в рваных бумажонках. На воеводском, под красным сукном, столе — петровских времен зеркало, пропыленные дела, на делах разомлевший кот дремлет, над столом в золоченой раме её величество висит, через плечо генеральская лента со

звездой, расчудесными глазами весело на Долгополова взирает.

Нет никого, в открытую дверь мужественный храп несется, надо быть, сам воевода после сытой снеди дрыхнет. Долгополов топнул, кашлянул. Храпит начальство. Долгополов двинул ногой табуретку, двинул стол, барашком крикнул:

— Здравия желаю! Это я...

Храп сразу лопнул, воевода замычал, застонал, сплюнул и мерзопакостно изволил обругаться:

— Эй, писчик! Ты что, сволочь, там шумишь, спать не даешь? Рыло разобью!

— Это я, отец воевода, — загнусавил высоким голосом Остафий Трифонович. — Раб твой худородный, купчишка Долгополов челом тебе бить пришел. Не прогневайся, выйди, отец-благодетель...

В доме жара, от печей горячий воздух тек, обрюзгший большебрюхий воевода выплыл из покоев в подштанниках, в расстегнутой рубахе, босой.

Волосы всклочены, борода лохмата, глаза бараньи, губы толстые. За окном сумерки, в канцелярии серый полумрак.

— Ты чего, дьявол, стучишь? — крикнул воевода. — Ах, это ты, Долгополов? Я думал — подканцелярист... Пошто поздно? Присутствие закрыто ведь, — воевода рыгнул, перекрестил рот, почесал брюхо, сел за стол. — Что скажешь?

— Ой, отец воевода. Сергей Онуфрич, до твоей милости я, пашпорт хочу исхлопотать, хочу в Москву да в Казань-город ехать по спешным делам моим.

— Эй, дай-ко-те квасу мне! — опять крикнул воевода и пожевал пересохшими губами. Потом прищурился на Долгополова, державшего под пазухой два тюрючка с красками, подумал: «Прощельжник... Давно бы тебя, прощельжника, надобно в кнуты взять, в тюрьме сгноить... Ишь ты, тюрючки.

Мне люди добрые мешками носят». И воевода, отдуваясь, прохрипел:

— Пашпорт тебе надобен? В Москву? В Казань?

— Так точно, милостивец, — переступил Долгополов мозольными ногами и благопристойно покашлял в горсть.

Воевода вдруг заорал:

— Марья! Квасу! — и стукнул жирным кулачищем по столешнице.

Спавший на столе кот в испуге вскочил, хищно прижал уши, хозяин сшиб его на пол, а купчик рыбкой нырнул в кухню, принес деревянный жбан и кружку белого фаянса. Воевода окатил душу холодненьким, перевел дух и сказал:

— Нет, не будет тебе пашпорта. Ты весь век свой шляешься, не сидится тебе на месте-то... Ты хлюст порядочный...

Долгополов сунул тюрючки на скамейку, всплеснул руками и, скосоротившись, повалился на колени:

— Милостивец, батюшка! Не губи, выдай... Самонужнейшие дела у меня в Казани.

— С пустыми руками к воеводе не ходят. Нет, не дам...

— Я твоей супруге поросеночка живенького принес. Сосунок. К Рождеству Христову выкормишь.

— Поросеночка? Сам ешь. Не больно корыстен поросенок твой. Ступай с богом, не дам.

— Батюшка, воевода пречестной! — взмолился Долгополов. — Я ныне человек разорившийся, панкрут, сам изволишь знать... А в дороге чаю дела поправить, может, паки богатым стану, паки откуп в Питере сниму, золотом засыплю тебя,

отец.

— Ты на посуле, как на стуле... Знаю тебя, хлюст ты... Ступай!

Воевода встал и ушел в покои, захлопнув дверь.

Долгополов покачал сокрушенно головой, вышел ни с чем на улицу.

Сумерки сгущались. На западе широкая заря стояла. На желтом небе, как на золоте, синели маковки церквей и колоколен. Будочник, взгромоздившись на приставленную к столбу лестницу, оправлял фонарь, подливая в него конопляное масло. На мрачно прошагавшего Долгополова рыжая шавочка пошавкивала. На душе у Долгополова кошки скребут. Ну да ничего, он этого воеводу-хабарника еще уломает.

— А ну-ка, стукнусь к Твердозадову, авось еще не дрыхнет, авось деньжат с него сдерну; без деньжат куда пойдешь, — вслух подумал опечаленный Остафий Трифонович.

Купец Абросим Твердозадов канатную фабричку имел, почитался в больших тыщах, недавно кирпичную церковь старообрядцам пожертвовал, но был груб, суров и на руку дюже ерзок. Во Ржеве до пятнадцати таких канатных завезений, купцы делали из конопли веревки самым незатейливым способом, а в работных людях у них городская гольтьба да оброчные крестьяне.

Подошел Долгополов к кирпичному двухэтажному дому. Над дубовыми воротами крест восьмиконечный врезан, под ним — медный складень. Постучал в калитку, спросил дворника:

— Сам-то дома?

— Дома. Токмо ной у него в поясах, спину пересекло, кажись, лежит.

По блоку злющий кобель на цепи взад-вперед сигал и люто лез на оробевшего купца. Творя молитву от укусов песьих, Долгополов на черное крыльцо, дернул в кухню дверь — не подается, дернул со всей силы — плохо заложенный крючок слетел, дверь разом распахнулась. Долгополова обдало паром, как из бани. Он шагнул в кухню и, чтоб тепла не упустить, захлопнул за собой дверь. Два сальных огарка сквозь пар чадят. Опершись о печку руками, согнув широкую красную спину (бородатую с плешью голову вниз), стоял голый человечище, хозяин Абросим Силыч Твердозадов, а его дородная красавица жена, тоже голая по пояс, в какой-то коротенькой юбчонке, со всем усердием и с молитвенным от немощи причетом растирала редькой поясницу супруга своего. Голый человечище кряхтел, охал, жалостно постанывал.

И лишь захлопнул вошедший Долгополов за собой дверь, вспугнутая хозяйка с визгом: «Ой-ой, кто это такое вперся?» бросилась в покои, голый же человечище, не меняя положения, только обернул бородатый лик свой в сторону вошедшего и сипло закричал:

— Дворник, ты? Эк тебя, дьявола, прости меня, господи, черти-то носят. Никак, крюк в двери сорвал. Пошел, стерва, вон!..

— Не извольте беспокоиться, Абросим Силыч. Это не дворник, а самолично я, Долгополов Остафий...

— Ты? Пошто ты, тварь, не в показанное время лезешь, пошто двери чужие ломаешь, аки тать? Тут женщина в нагом естестве, а он, собака...

— Я, Абросим Силыч, видит бог, защурившись стоял и наготы вашей супруги не приметил, — врал Долгополов, отлично зная, сколь ревнив был Твердозадов к красавице жене своей. — Я, Абросим Силыч, в простоте душевной деньжонок